Комнаты внутри нас

Комната потерь

О тех, кто ушёл,
и том, что осталось



Шокун
Алексей Владимирович

Шокун Алексей

Комната потерь. О тех, кто ушёл, и том, что осталось

«Автор»
2026

Алексей Ш.

Комната потерь. О тех, кто ушёл, и том, что осталось / Ш. Алексей — «Автор», 2026

Старое пальто на гвозде. Кассета с дорогим голосом. Камешек с реки. Обычные вещи становятся незаменимыми, когда связаны с тем, чего больше нет. «Комната потерь» объединяет двенадцать историй о расставании с близкими, домом, привычными возможностями и собственной памятью. В комнате старого дома мебель отодвинута к стенам, а посередине — пустота. Смотритель ставит туда фонарь: теперь видно не то, что осталось, а то, чего не хватает. Здесь никто не обязан забывать или начинать заново. Это сдержанная, человечная проза о горе, привязанности и праве сохранять память по-своему.На отдельных этапах подготовки издания применялись интеллектуальные цифровые инструменты.

© Алексей Ш., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Об этой книге 5
Как читать 6
Пролог 7
Пальто на гвозде 8
Комната, в которой сделали ремонт 16
Конец ознакомительного фрагмента. 17

Шокун Алексей
Комната потерь. О тех, кто ушёл, и том, что осталось

Серия «Комнаты Внутри Нас»

Шокун Алексей Владимирович

Об этой книге

Это художественная проза. Истории в этой книге не заменяют помощь врача или психотерапевта, не описывают диагнозов, не дают назначений и не обещают, что после них что-то пройдёт.

Если вы узнали себя в одной из историй — это не диагноз. Узнавание не доказывает ничего, кроме того, что вы человек и с вами бывает то же, что с другими людьми.

Если сейчас с вами происходит что-то, с чем трудно оставаться одному, — это не тот случай, когда нужна книга. Позвоните тому, кто может помочь: врачу, психотерапевту, близкому человеку. В остром горе читать про чужое горе бесполезно и иногда вредно.

Всё, что здесь есть, — двенадцать историй про людей, у которых что-то забрали. Ни один из них не смиряется и никто не начинает жить заново. У всех в конце остаётся то же, с чем они начали, — меняется только то, что они об этом знают.

Как читать

Одну историю за вечер. Больше не надо: истории короткие, но они не для того, чтобы их проглатывали.

Порядок соблюдать не обязательно. Но если день был тяжёлый, не читайте подряд девятую и одиннадцатую — они самые тёмные. Между ними лучше сделать перерыв или перейти сразу к двенадцатой.

Истории не нужно понимать. В них нет скрытого смысла, который вы обязаны найти. Если после истории ничего не произошло — это нормальный результат: так бывает чаще всего.

Если история задела, закройте книгу. Не надо разбираться сегодня. Не надо ничего вспоминать специально — если вспомнится, оно вспомнится само, и уже не в книге.

Эту книгу можно читать вслух. Она так и написана — с расчётом на то, что её слышат.

Двенадцать — не круглое число, и это сделано нарочно. Круглое число обещает, что список полный, а список потерь не бывает полным: у каждого он свой и всегда чуть длиннее, чем кажется со стороны.

Здесь собраны двенадцать видов одной и той же вещи: пальто, комната, собака, друг, дом, нерождённый ребёнок, мастерская, голос на кассете, камешек с реки, слух, память, лестница. Ни одна из этих потерь не больше и не меньше остальных — они разные по весу, и вес у них не сравнивают.

Три последние истории — про то, что забирают не снаружи, а внутри: слух, память и возможность выйти из дома. Они стоят в конце, потому что говорить о них труднее всего, и потому что человек, у которого забрали это, обычно не рассказывает об этом никому.

И последнее. Эта книга не про то, как перестать хранить. Она про комнату, в которой всё стоит вокруг пустого места, и про вещи, которые остаются на своих местах, потому что убрать их — значит признать, что место пустое.

Пролог

В этом доме есть комната, в которой всё стоит не на своих местах.

Дверь в неё обычная, крашеная, и на ней номер — четыре. Номер написан от руки, белой краской, и цифра четыре написана так, что её можно прочитать и как девять.

Стол отодвинут от стены на полметра, хотя его никто не двигал. Стулья стоят у стен, по одному, далеко друг от друга, как в приёмной. Шкаф поставлен не в угол, а посреди стены, и от этого кажется, что он чего-то ждёт.

Всё в этой комнате сдвинуто к краям. Середина пустая.

На обоях светлые пятна: вот здесь висели фотографии, здесь стояла полка, здесь было что-то большое, и обои под ним не выгорели. На полу вмятины от ножек — четыре, квадратом, и квадрат больше, чем любой из здешних столов.

Пыль лежит везде, кроме середины. Середина вытерта, как будто по ней много ходили.

Одно окно закрыто. Остальные три открыты, и в них слышно улицу: автобус, чей-то разговор, мяч о стену. Закрытое окно выходит во двор, и в нём ничего не слышно.

На подоконнике ничего нет.

Смотритель входит, ставит фонарь на пол — в самое пустое место, в середину комнаты, — и опускается рядом на корточки.

Он сидит так две секунды. Потом встаёт и уходит, и дверь оставляет открытой.

Фонарь маленький, жёлтый, и он светит не вверх и не в сторону, а прямо на пол, вокруг себя, на вытертые доски.

Он знает, что вещи в этой комнате не его. Он их не двигает, не вытирает и не считает.

В комнате ничего не прибавилось. Но теперь видно, чего нет.

Фонарь стоит на полу до утра, и его никто не гасит.

Пальто на гвозде

Гвоздь в прихожей вбил отец, в девяносто четвёртом, когда вешали вешалку. Вешалку потом сняли, а гвоздь остался: он был вбит криво, под углом, и вытащить его оказалось дольше, чем оставить.

На гвозде висело серое драповое пальто.

Оно было куплено в шестьдесят девятом и с тех пор висело здесь каждый день, кроме лета. Летом его уносили в шкаф, в простыню, и в прихожей становилось пусто и гулко.

В сентябре отец доставал его сам и вешал сам, и говорил: «Ну, здравствуй».

Он носил это пальто двадцать семь лет, на заводе, в цехе, где зимой было восемь градусов. Пальто было серое, с чёрным воротником из чего-то, что называли «цигейка». К семьдесят девятому оно стало мягким, как тряпка, и держало форму только на плечах.

Мать предлагала купить новое. Он говорил: «Это ещё крепкое». Отец умер девятнадцатого февраля, в среду, в шесть утра. Пальто в тот день висело там же, где и всегда, — у двери, рукавом к стене.

Хоронили в закрытом, и пальто для этого не понадобилось. Оно висело в прихожей всё это время и висело, когда вернулись. Хоронили двадцать первого, в пятницу, на Северном, рядом с бабкой.

Народу было немного: он, Сергей, мать, две сестры отца из Подольска и трое с завода. На поминках ели котлеты и пили компот, и один из заводских сказал речь, и в речи было: «Хороший был мужик». Мать на поминках не плакала. Она вымыла всю посуду и вытерла стол, и это было хуже слёз.

Дома она первым делом сняла с вешалки его шапку и убрала в шкаф. Пальто не тронула.

В марте она два раза ставила на стол две чашки и потом уносила одну.

Она говорила: «Я по привычке», и смеялась, и это было хуже, чем если бы она молчала. В апреле она перебрала тумбочку и выбросила его очки, но футляр оставила. Футляр до сих пор лежит в верхнем ящике, рядом с ключницей.

Мать жила одна в двушке на четвёртом, без лифта, и поднималась медленно, с остановками. Днём она смотрела сериалы и вязала, и связала всем по паре носков, включая Настю, которой было семь. Она ходила в церковь на Пасху и на Троицу, и говорила, что верит «в общем», и это всех устраивало.

Соседки на лавочке спрашивали, как она, и она отвечала: «Живу». Про отца она говорила только одно слово: «Долго». Её собственный отец погиб в сорок третьем, и она его не помнила.

Но в доме её матери висело его пальто, и висело до шестидесятого года, пока бабка не умерла. Мать рассказывала об этом так, как рассказывают про погоду: без нажима, между делом. Она говорила: «У нас в прихожей всегда висело, и никто не трогал».

Виктор тогда не понял, зачем она это рассказывает. Теперь понял. Его не сняли ни в феврале, ни в марте.

В апреле приехал брат Сергей с сумкой для вещей и сказал:

— Мам, давай я его куда-нибудь.

Мать сказала:

— Пусть висит.

Сергей сказал:

— Оно же мешает.

Мать сказала:

— Не мешает.

Сергей посмотрел на него, на брата, ища поддержки, и брат пожал плечами. Пальто было большое, на ватине, с потемневшими обшлагами. Вторая пуговица снизу была не родная, пришитая чёрной ниткой в три стежка. Воротник лежал так, как его поправили в последний раз.

Покупали его в ГУМе, в шестьдесят девятом, за сорок два рубля. Отец тогда получил первую большую получку — сто восемьдесят — и поехал в Москву с матерью. Она хотела, чтобы он взял чёрное, а он взял серое, потому что чёрное было «как у начальника».

Дома он надел его перед зеркалом и долго стоял, и мать сказала: «Ну, совсем другой человек». Он прожил в этом пальто всю свою жизнь: завод, участок в Тучкове, рыбалку, похороны брата, свадьбу Сергея.

На левом рукаве у локтя было пятно от масла, которое не отстиралось в восемьдесят третьем.

Пуговицу он потерял в девяносто первом, в автобусе, и мать пришила первую, какая нашлась. Перчатки лежали в тумбочке под гвоздём, в верхнем ящике, рядом с ключницей. Каждый год в октябре мать доставала их и клала рядом с пальто, на тумбочку.

Через неделю она убирала их обратно, и никто об этом не говорил. Девятнадцатого февраля она не ходила на кладбище. Она варила борщ, пекла пирог с капустой и ставила на стол лишнюю тарелку.

Они приезжали вдвоём с Сергеем, и ели, и говорили о другом, и тарелка стояла нетронутая. Потом мать её мыла и убирала в шкаф, и на другой день всё было как обычно. Он спросил один раз, зачем она это делает. Она сказала: «А как ещё».

Перчатки были куплены в семьдесят восьмом, к его сорокалетию. Она связала к ним подкладку из старого свитера, потому что руки у него мёрзли. Он носил их до девяносто восьмого, потом стали тонкие, и он надевал их только на кладбище.

В день похорон она положила их в гроб, но гроб был закрытый, и внутрь их не пустили. С тех пор они лежат в тумбочке и раз в год выходят на тумбочку.

В октябре, за неделю до годовщины, мать сказала за чаем:

— Он его в шестьдесят девятом покупал. В ГУМе, за сорок два рубля.

Он сказал:

— Долго.

Она сказала:

— Долго.

В правом кармане лежал сложенный полиэтиленовый пакет, две монеты по десять рублей и билет на электричку до Тучкова от двенадцатого октября. Он знал про билет, потому что в марте, когда искал зажигалку, залез в карман.

С тех пор он туда не лазил.

В тот день, двенадцатого октября, была суббота, и на работе шла проверка из главка. Он был наладчиком в проектном институте и отвечал за печать, и проверка означала, что все машины должны работать. Он сказал отцу: «В следующий раз поедем вместе».

Отец сказал: «В следующий раз картошки не будет». И засмеялся, и пошёл на электричку, и вернулся в четыре, и привёз два ведра в сетке. Он тогда подумал, что успеет. Что следующий раз будет.

Следующего раза не было: в феврале отец умер, а билет остался в кармане. Участок в Тучкове продали в июне, за сто двадцать тысяч. Сергей отдал ей половину и сказал: «Тебе на лекарства».

Она взяла и положила в сберкнижку, и с тех пор не снимала. В июле они ездили туда последний раз, за лопатой и вёдрами.

На участке всё было как в октябре: трава, парник, ведро под водостоком.

Он постоял и подумал, что надо было тогда бросить проверку и поехать. И понял, что думает об этом каждый раз, когда видит электричку на Тучково. Билет он мог вынуть сто раз.

Он думал об этом каждый раз, когда лез в карман за зажигалкой, и каждый раз не лез. Один раз, в мае, он всё-таки сунул руку и нащупал бумажку. И убрал руку, и больше не пробовал.

Он подумал, что если вынуть билет, в кармане станет пусто, и тогда пальто станет обычным пальто. Двенадцатого октября отец ездил в Тучково, на участок, за последней картошкой. Он просил отвезти его на машине, и брат не смог, и он сам не смог: была суббота, и на работе шла проверка.

Отец поехал на электричке, в семь утра, вернулся в четыре и привёз два ведра картошки в сетке. Он сказал тогда: «Зря не поехали, там сейчас хорошо».

Через четыре месяца его не стало, а билет остался в кармане, потому что он никогда не выбрасывал билеты.

Он приезжал по субботам, в половине одиннадцатого, с хлебом и с тем, что просила мать. Прихожая была узкая, в две руки. Слева — зеркало, справа — гвоздь, под гвоздём — тумбочка для перчаток, на тумбочке — ключница в форме рыбки.

Зимой в прихожей стояли его ботинки, её сапоги и тапки, и коврик сбивался к двери. Зеркало было старое, в деревянной раме, и в нём прихожая казалась длиннее, чем была. Пальто висело как раз напротив зеркала, и, выходя, он видел его дважды.

Он входил, снимал своё пальто и вешал его на тот же гвоздь, поверх отцовского. Ему было тридцать восемь, и он жил в двух остановках, в панельной девятиэтажке, с женой и дочерью. Жену звали Лена, она работала в поликлинике, в регистратуре, и приходила домой в семь.

Настя ходила в первый класс и любила рисовать, и рисовала всё, что видела, включая то, что не надо. По субботам он ездил к матери: привозил хлеб, лекарства, если кончились, и сидел часа два. Он всегда думал, что ездит из-за матери. Про отца он не думал ничего.

Иногда он заезжал в гараж, к Сергею, и они выпивали по банке пива и говорили о машинах. Про отца они не говорили ни разу за год. Сергей был старше на четыре года и всегда был тот, кто решает.

Он забрал себе инструмент, машину и гараж, и это было правильно, потому что он умел с ними обращаться. Он же и оформил все бумаги: свидетельство, пенсию, участок. И он же первый сказал про пальто, потому что не мог смотреть, как оно висит.

Он не был чёрствым. Ему было хуже, чем Виктору, и он делал то, что делают, когда хуже: убирал с глаз. Так было удобнее: не надо было искать место.

Однажды, в октябре, он пришёл позже обычного, уже в темноте, и в прихожей горела только лампочка в кухне. Пальто висело прямо, ровно, как на картинке. Он потрогал рукав. Рукав был холодный. Он подумал, что он всегда холодный, и что это ничего не значит.

В ноябре приехала его дочь, Настя, ей было семь. Мать позвала её пить чай, и Настя пошла в прихожую мыть руки. Она остановилась у гвоздя.

— Пап, а чьё это?

— Деда.

— А он придёт?

— Нет.

Настя подумала и спросила:

— А зачем тогда?

Он сказал:

— Не знаю.

Настя ещё постояла, потрогала обшлаг и ушла на кухню. Он остался в прихожей и стоял там, пока не позвали.

Через неделю Настя принесла из школы рисунок.

На рисунке была прихожая: дверь, зеркало, тумбочка и гвоздь. На гвозде висело что-то серое и большое, больше двери, и рядом стоял человек без лица. Учительница написала внизу: «Наша семья».

Мать повесила рисунок на холодильник и держала его там до весны. Лена, когда увидела, сказала: «Это она про деда?» Он сказал: «Это она про прихожую».

После этого он стал замечать. Он замечал, что, входя, первым делом смотрит на гвоздь. Замечал, что, уходя, поправляет воротник — не свой, а тот. Замечал, что в прихожей всегда чуть темнее, чем в остальной квартире, и что пальто в этой темноте занимает больше места, чем должно.

Гвоздь держал плохо: шляпка выходила из стены под углом, и пальто висело чуть набок. Он думал подтянуть его шуруповёртом и каждый раз забывал. Один раз он привёз шуруповёрт и всё равно не подтянул.

Он подумал, что если подтянуть, пальто будет висеть ровно, а ровно — значит давно. В сентябре соседка с пятого, Зинаида, остановила мать на лестнице. У неё умер муж, дядя Коля, и его надо было хоронить, а хоронить было не в чем.

Она спросила: «Анна Петровна, а у вас не осталось чего-нибудь мужского?» Мать сказала: «Нет». Зинаида сказала: «А это?» — и показала на гвоздь.

Мать сказала: «Это не отдаётся». Потом они ещё год здоровались на лестнице и не разговаривали.

В декабре мать сама заговорила об этом.

Она сказала: «Зинаида обиделась». Он сказал: «Ну и пусть». Она сказала: «Не пусть. Я ей потом кастрюлю отдала».

Он спросил: «Зачем?» Она сказала: «Чтобы не думала, что я жадная». И добавила: «А пальто не отдам, потому что оно ещё пахнет».

Он замечал, что мать, проходя мимо, его не трогает. Ни разу за девять месяцев.

В августе Сергей приехал снова, уже без сумки, и сказал:

— Мам, есть такая служба, они забирают.

Мать сказала:

— Какая служба.

— Обычная. Приезжают и забирают.

Мать сказала:

— Пусть висит.

Сергей сказал:

— Ну и ладно.

И больше с этим разговором не приезжал.

В октябре они с Сергеем курили на балконе, и Сергей сказал:

— Ты бы поговорил с ней.

Он сказал:

— О чём.

— Ну, об этом. Год прошёл.

Он сказал:

— И что она должна сделать.

Сергей помолчал и сказал:

— Не знаю. Что-нибудь.

Он сказал:

— Вот когда придумаешь что, тогда и поговорим.

Сергей засмеялся, и на этом кончилось, и они докурили и пошли в комнату. Он думал: она ждёт.

Потом он думал: она не может.

Потом, в декабре, он понял, что ни то, ни другое. Мать не снимала пальто не потому, что ждала отца. Она не снимала его потому, что под пальто был гвоздь, а на гвозде ничего.

Пока пальто висело, в прихожей было что-то тяжёлое у двери, и можно было говорить: «Пусть висит». Он подумал об этом и не сказал вслух ничего. Он подумал ещё, что делает то же самое, только иначе: девять месяцев вешал своё пальто сверху, чтобы не видеть пустой гвоздь.

В феврале, к годовщине, мать позвонила ему на работу. Она сказала: «Ты приедешь?» Он сказал: «Приеду».

Она сказала: «Приезжай пораньше, я пирог испеку». Он приехал в десять, и пирог был уже на столе, и лишняя тарелка тоже. Он сел и съел кусок, и сказал: «Вкусно».

Мать сказала: «Он любил с капустой». И они сидели и ели, и в прихожей висело пальто, и это было всё, что о нём говорили. Разница была в том, что ему было чем закрыть.

Двадцать восьмого декабря мать попросила вынести мусор. Он стоял в прихожей и искал своё пальто. Своё лежало сверху, под ним было отцовское, и снимать оба было неудобно.

Он снял оба и надел отцовское. В детстве он ездил на этом пальто верхом: отец сажал его на плечи, и он держался за воротник, и воротник был жёсткий и пах табаком.

Потом он вырос, и воротник стал воротником.

Оно было ему велико в плечах и длинно в рукавах. Ватин лежал тяжело, как мокрое одеяло, и от него пахло нафталином и чем-то ещё, чем пахнут вещи, которые долго висят.

В восемьдесят шестом они ездили на рыбалку, на Оку, и он сидел на берегу в этом пальто.

Было холодно, август кончался, и отец сказал: «Надень, а то простудишься». Он надел, и оно было тогда ему до земли, и он в нём ходил по берегу и мешал рукавами. Отец поймал тогда двух подлещиков и одного сома, и сома выпустил.

Он спросил, почему выпустил. Отец сказал: «Он маленький». Сом был не маленький. Сом был с руку.

Он вспомнил об этом на площадке, с мешком в руке, и не понял, зачем вспомнил. Он взял мешок, вышел, спустился по лестнице, выбросил мусор в контейнер и постоял на площадке. Было холодно. Из подъезда шёл пар.

Мимо прошла соседка с пятого и спросила:

— Виктор, ты чего стоишь?

Он сказал:

— Мусор выносил.

Она сказала:

— Ну да.

И пошла дальше, и дверь за ней хлопнула. Он постоял минуты две и вернулся. Мать стояла в дверях кухни и смотрела.

Он снял пальто и повесил обратно. Запах остался на свитере.

К вечеру его стало меньше, а к ночи не стало совсем.

Вечером Лена сказала:

— Ты в нём вышел?

Он сказал:

— Мусор вынести.

Она сказала:

— И как?

Он сказал:

— Тяжело.

Лена помолчала и сказала:

— Ты бы его взял. Носил бы.

Он сказал:

— Оно не моё.

Она сказала:

— Ну и что.

Он не ответил, и она больше не спрашивала, и в эту ночь он спал плохо. В три часа он встал и вышел в прихожую. Свет он не включал: хватило уличного фонаря, который светит в окно на лестнице.

Пальто висело и было похоже на человека, который стоит и ждёт, когда его заметят. Он постоял, потрогал рукав и вернулся в постель.

Утром он не рассказал об этом Лене, и потом не рассказал тоже.

В школе Насте рассказали, что люди умирают, и она пришла домой и спросила:

— А ты умрёшь?

Он сказал:

— Когда-нибудь.

Она сказала:

— А когда?

Он сказал:

— Не знаю. Долго ещё.

Она подумала и сказала:

— Тогда ладно.

И ушла рисовать, а он остался сидеть и думать, что «долго» — это то же слово, которое говорит мать.

Мать сказала:

— Тебе велико.

Он сказал:

— Велико.

Больше она ничего не сказала, и он ничего не сказал.

Жена спросила его вечером:

— Ты какой-то.

Он сказал:

— Никакой.

Она сказала:

— Как хочешь.

И больше не спрашивала. В январе он приехал с шуруповёртом и с гвоздём в кармане. Он вбил второй гвоздь в полуметре от первого, на той же высоте, ровно, по уровню.

Мать вышла на стук и сказала:

— Ты чего стену портишь?

Он сказал:

— Я своё сюда повешу.

Мать постояла и ушла на кухню. Через минуту она вернулась с тряпкой и подставила табуретку.

Она стёрла пыль со стены вокруг нового гвоздя и сказала:

— Криво вбил.

Он сказал:

— По уровню.

Она сказала:

— По уровню, а криво.

И ушла, и он остался стоять и смотреть на два гвоздя, и один был вбит под углом, а второй ровно, и оба держали. Он повесил своё пальто на новый гвоздь. Отцовское осталось на старом, кривом, и больше ничего не свисало с него.

В феврале, через год, они стояли в прихожей вдвоём: он собирался уходить, а мать вышла проводить.

Она посмотрела на два пальто и сказала:

— Твоё вон там.

Он сказал:

— Там.

Она сказала:

— А это пусть.

И показала рукой на старое, на кривой гвоздь. Он кивнул, надел своё и вышел.

В марте Настя спросила:

— Пап, а деда был большой?

Он сказал:

— Большой.

— Как ты?

— Больше.

Настя кивнула, как будто это что-то объясняло.

Потом она спросила:

— А перчатки чьи?

Он сказал:

— Тоже деда.

— А почему они не с ним?

Он сказал:

— Так вышло.

Настя подумала и сказала:

— Это неправильно.

Он сказал:

— Да.

Она ушла в комнату, а он остался на кухне и сидел, пока не стало совсем темно. В апреле мать достала перчатки и положила их не на тумбочку, а в карман пальто. Она сделала это при нём, спокойно, как кладут в карман что-то нужное.

Он спросил: «Зачем?» Она сказала: «Пусть будут при нём». И с тех пор в октябре она их больше не доставала: они лежали в кармане, вместе с пакетом, монетами и билетом.

Тумбочка под гвоздём стала пустой. Через месяц мать поставила на неё ключницу в форме рыбки, и рядом — банку с мелочью. Он заметил это только в июне, когда искал отвёртку.

Он сказал: «Ты переставила». Она сказала: «Ага. А то пусто было».

У Лены отец умер в две тысячи девятнадцатом, в больнице, и она ездила к нему каждый день. После похорон она две недели не могла войти в его комнату и спала на диване в зале.

Потом вошла, и всё разобрала за один день, и отдала соседям его кресло.

Она говорила: «Я не могу, когда вещи стоят». Он говорил: «А мать не может, когда не стоят». И они больше к этому не возвращались, потому что оба были правы.

В августе мать попросила снять пальто. Она сказала: «Подай мне его». Он снял и принёс, и она положила его на колени и просидела так минут двадцать.

Она не плакала и ничего не говорила. Потом сказала: «Тяжёлое». Он сказал: «Тяжёлое».

Она сказала: «Повесь обратно». В сентябре он съездил в Тучково, один, в субботу. Он доехал до станции и вышел, и постоял на платформе, и посмотрел на поле, где раньше были участки.

Теперь там стоял забор из профлиста и синий вагончик. Он походил вдоль платформы и купил в киоске билет обратно. Билет был новый, гладкий, и он положил его в свой карман, а не в отцовский.

Дома он его выбросил. В воскресенье мать спросила: «Ну как там?» Он сказал: «Забор поставили».

Она сказала: «Какой забор». Он сказал: «Из профлиста. И вагончик синий».

Она помолчала и спросила: «А картошка?» Он сказал: «Нету картошки». Она сказала: «Ну и ладно», и пошла на кухню, и стала чистить картошку, которую покупала в магазине.

Он сидел и смотрел, как она чистит: тонко, почти без отходов, и складывает кожуру в газету. Она сказала: «Ты бы поел». Он сказал: «Поел бы».

Она поставила сковородку и села напротив, и они сидели, пока не подгорело. Потом она сказала: «Ты в субботу приедешь?» Он сказал: «Приеду».

Она сказала: «Приезжай». И это был весь разговор, и его хватило на неделю.

В ноябре она позвонила сама, первый раз за год.

Она сказала: «Ты не болеешь?» Он сказал: «Нет». Она сказала: «Ну и хорошо».

И положила трубку, а он ещё минуту держал свою и слушал гудки. Он подумал, что она позвонила не за этим, и что спросить, зачем, он не будет. Он повесил, и воротник опять лёг так, как его поправили в последний раз.

В кармане отцовского пальто так и лежат сложенный пакет, две монеты по десять рублей и билет до Тучкова от двенадцатого октября. Никто их не вынимает. Мать про них знает, и он знает, и оба молчат.

В прихожей теперь два гвоздя: один вбит криво, под углом, второй ровно, по уровню. На обоих висит по пальто.

Зимой они касаются рукавами, а летом между ними проходит ладонь.

Комната, в которой сделали ремонт

Ключ не подошёл с первого раза. Он стоял на площадке, вставлял его и поворачивал, и замок не поддавался, и только с третьего раза, когда он надавил сильнее, дверь открылась. Замок был новый, с длинной ручкой, и дверь была новая — белая, гладкая, с глазком на высоте его лица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.